

Александр Товбин. Германтов и унижение Палладио



- Александр Товбин. Германтов и унижение Палладио. — СПб.: Геликон Плюс, 2015. — 936 с.

В длинный список премии «Большая книга» в 2015 году вошло произведение петербургского писателя Александра Товбина. «Германтов и унижение Палладио» одновременно сочетает в себе элементы романа воспитания, детектива, производственного романа и мемуаров. Главный герой амбициозный петербургский искусствовед Юрий Германтов захвачен дерзкими замыслами главной для него книги об унижении Палладио. Одержимость абстрактными, уводящими вглубь веков идеями понуждает его переосмысливать современность и свой жизненный путь. Такова психологическая и фабульная пружина подробного многослойного повествования, сжатого в несколько календарных дней.

часть первая

в вольных университетах

**картинки из разных, — детских и взрослых, — лет, а также
фантом-папа, отчуждённая мама и жовиальный Сиверский,
палладианец**

•

С чего она начиналась, жизнь?

С того, что сразу врезалось в память, — с зимы, снежной, как в бескрайнем, белом-белом, узорчатом и пышно-нарядном, замороженном царстве Берендея, зимы... — вот он, Юра Германтов, свидетельствуя о подлинности воспоминания, тонет в снегах сказочной той зимы, на маленькой серенькой фотографии: короткое пальтецо, башлык, деревянная лопатка в руке, сугробы.

И будто бы в эвакуации, в деревне на севере костромской области, не сменялись времена года, будто он там, в заповедной лесной глуши, дремучей хвойной стеною подступавшей к домам, не радовался лету, — не одолевал ажурной упругости папоротников, не блуждал в густо-пахучих, пронзённых лучистой голубизной, зарослях можжевельника или — в колючих, затянутых радужной щекочущей паутиной малинниках; о, он знал в лесу ягодные места, пил сладковато-прозрачный берёзовый сок, сочившийся из-под надрезанной коры в консервную банку, пьянел от шума ветра в берёзах, взбегавших к небу по зелёным пригоркам...

В радости лета он, однако, окунулся после так поразившей его, так запавшей в память зимы.

Снег был легчайший и мягкий-мягкий, словно бескрайняя перина с лебяжьим пухом, или скрипучий, как крахмал, или, при устоявшихся морозах, слежавшийся, твёрдый и колкий, с шероховатой, взблескивавшей ледяной корочкой, и — при этом — холодный-холодный на ощупь, обжигавший до красна пальцы, и — вот, казалось, спустя миг всего, — чуть подтаявший сверху, солнечно-тёплый, как топлёное молоко; а назавтра — уже почему-то сухой и будто бы мелко перемолотый, как порошок, а потом, — мягкий и рыхло-липкий, годный для лепки снеговиков. Снег непрестанно менял и цвета свои, вот он, белый-белый, только что украшенный лишь рельефным узором птичьих следов, испещрялся ещё и неровными ярко-синими полосами, вот синие полосы, сближаясь, срастаясь при снижавшемся солнце, делались лиловыми, но вот и окончательно размазывались по снегу, теряли яркость, будто бы линяли тени стволов, ветвей, а под вечер — снег уже был розовым, почти крапlachно-красным, будто бы сплошь залитым клюквенным киселём, и — спустя час какой-то — лазорево-изумрудным при полной, вроде как фосфором натёртой луне, взошедшей над обложенной ватой, припорошенной блёстками елово-сосновой чащей, или — делался снег пепельно-белёсым в чёрной ночи, омертвевшим каким-то, но — с жёлтыми пятнами электрического света, косо падавшими, если повернуть с немалым усилием массивный фаянсовый выключатель, на снег из окон. Те снега, чистые, ослепительные, многокрасочные, — со всеми своими цветоцветовыми контрастами, оттенками, — до сих пор перед глазами, до сих пор расстилаются у подножия запорошенной таинственно-мрачной чащи, на которую, кстати, он привык смотреть сквозь другой лес, тоже таинственный, но вовсе не мрачный, а нарядный, серебристо-льדיстый, нарисованный на оконном стекле морозом.

И смешанного зрелища этого, когда лес накладывался на лес, действительно, он не мог забыть.

Ну да, сложилась непроизвольно нелепая, но по-своему точная фразо-формула: прошлогодние снега не желают таять...

В снегу тонули по окна избы, снег накрывал их пышными шапками, а брёвна, доски, наличники зарастали пухлым сиреневым инеем... Вороны, гортанно перекрикиваясь, перелетали с ветки на ветку, с деревьев медленно и торжественно падали тяжёлые хлопья. И вдруг ветер принимался сдувать снег с крыш, над коньками их и печными трубами в самые ясные дни взвивались вьюги. И сельские мальчишки прыгали с высоких зубчатых заборов в сугробы, вздымалась и долго-долго плавала в воздухе белая, блестящая, алмазно загоравшаяся на солнце пыль... Все снежные перекраски и цветоносные трансформации с волнением подмечал Германтов, ничуть не завидуя их, деревенских сорванцов, показной удали.

Странный мальчик — он, здоровый, физически вполне развитый мальчик четырёх лет от роду, предпочитал, отслеживая все нюансы оттенков и фактур снега за окном, листать журналы с картинками.

И это перелистывание картинок стало вторым, пожалуй, не менее ярким, чем первое, снежное, впечатлением. Стопка потрёпанных дореволюционных журналов обнаружилась на книжной полке в комнате большого, потемневшего от времени бревенчатого дома с окошками в резных наличниках и прогнившей гонтовой крышей с лишаями мха, где Германтова поселили с бессловесной маминой тёткой, — мама отправилась в эвакуацию с театром, с концертными бригадами должна была выезжать на фронт и не могла взять Юру с собой. В тех журналах попадались разные гравюры с впечатляющими каменными ландшафтами, преимущественно, Парижа с обязательной наполеоновской аркой на Елисейских полях и Рима с не менее обязательными античными руинами, что, несомненно, чудесно предвосхищало будущие профессиональные интересы Германтова. Но тогда запомнились ему прежде всего почему-то две гравюры со штриховыми видами двух других городов, причём именно те две гравюры, которые потом с удивлявшей Германтова повторяемостью встречались ему год за годом на страницах книг и журналов... Эти встречи с давними знакомцами воспринимались им потом как направляющие его к неясной цели знаки упрямого чародейства.

Итак, ему, четырёхлетнему, навсегда запомнились снега военной зимы и две старинные, — восемнадцатого века — гравюры с видами Петербурга и Венеции.



Как мешали ему теперь, ночью, точнее, на рассвете, пробелы между рваными фрагментами собственного автопортрета!

Ведь даже краткая биография, подумал, предательски распадалась под разновекторным давлением рефлексии; казалось, сколько-нибудь значимые картинки детства, которые он сам пытался складывать сейчас в хронологической последовательности, чтобы увидеть траекторию всей жизни своей, обрести некий сквозной сюжет, и те раз за разом дробились, а осколки-обрывки перемешивались чьей-то властной рукой... И чем заполнить пробелы ли, «пятна темноты», запавшие в душу, как выявить в противоречивых детских томлениях изначальную направленность натуры? Ни будущую целеустремлённость, ни тем более амбициозность в маленьком Юре Германтове нельзя было разглядеть.



Он не знал своих бабушек и дедушек, их не было в живых, когда он родился, и это незнание не могло не обеднить его эмоциональный мир, ибо дедушки-бабушки омывают детскую душу особой, отличной от родительской любовью.

Но по сути он не знал и своих родителей.

— Ты будто подкидыш, бедненький мой, — вздыхала мама; потом и Сиверский подкидышем-кукушонком называл, ероша Германтову волосы и поблескивая очками... Конечно, подкидыш, кто же ещё: полдня проводил у Анюты с Липой — у них, кстати, тоже были старинные иллюстрированные журналы; попозже, когда немного подрос — мог часами торчать у соседа, художника Махова, вдыхая пьянящие ацетоново-олифовые запахи масляной живописи, всматриваясь в чудесно возникающие на холстах из-под ударов кисти загадочные изображения.

Обучение и воспитание примерами, впечатлениями?

И словами, само собой, но — без дидактики?

Возможно.

Никто — ни Анюта с Липой, ни Махов, ни Соня, — специально и целенаправленно ничему его не учили и учиться не заставляли, никто направленно — что такое хорошо, что такое плохо — не воспитывал; до чего же вольно он, оказывается, рос! Сказка, да и только! Никто ему не давил на психику.

И он, словно в благодарность за это приволье, никого не отвлекал вопросами, капризами, шумными играми... Он никому из домашних не надоедал, никому не доставлял неприятностей, не давал и поводов для естественного материнского беспокойства — ни кори, ни ветрянки,

ни скарлатины; он не простужался даже, не помнил, чтобы ему когда-то ставили градусник...

Он не знал отца, почти не знал мать...

Да, отец исчез до его рождения, на нет и суда нет, а вот мама никуда не исчезала, а он только видел её, да и то изредка и как бы бесконтактно, со стороны — видел и старался запомнить плавные движения, поворот красивой головы; и слышал, конечно, как она пела. Когда она последний раз пела дома? Пожалуй, на встрече Нового года, да, да — на встрече тысяча девятьсот пятидесятого года, отмечали середину века... Или всё же это была встреча другого Нового года, попозже? И был он, соответственно, старше? Не проверить, по малости лет он вполне мог что-то с датировкою перепутать, а больше никого из тех, кто звенел в ту ночь бокалами, уже нет в живых. Но что точно, то точно: тогда ли, позже, но приехали гости из Львова, дальние родственники, Александр Осипович Гервольский с женой Шурочкой. Они за полчаса до боя курантов и гимна, мощно исполненного Краснознамённым ансамблем и немецким трофейным радиоприёмником, вернулись из театра имени Пушкина, из бывшей — и нынешней — Александринки, где давали не что-то легкомысленное, как полагалось бы по стандартам репертуара под Новый год, не какую-нибудь там затхлую костюмную комедию положений с переодеваниями, пощёчинами и сочными поцелуями, а премьеру «Живого трупа»; жарко обсуждали игру Симонова — Феди Протасова, и Лебзак — цыганки Маши. Сверкала нарядная ёлка, сверкал бутылками и баккара стол. Сиверский, искромётно-весёлый громовержец и по совместительству — тамада, произносил басовито-баритонные тосты-пожелания; бабахая пробками, пили замороженное шампанское, потом «Столичную» водку и «Цинандали»... Вдруг — звонок, явилась заснеженная Оля Лебзак собственной персоной, с гитарой и слегка уже захмелевшая в другой компании, у друзей-артистов, пировавших неподалёку, на Бородинке. О, восхищённо зааплодировать стоило сразу, едва Оля в перспективе коридора, небрежно тряхнув плечами, превратила снежинки в капли, скинула котиковую шубку на руки Сиверского! Фантастичный новогодний сюрприз для четы Гервольских, им подарили продолжение потрясающего спектакля. Однако Оля — в белой блузке, коричневом расстёгнутом жакетике и удлинённой болотно-зелёной юбке со смелым разрезом — сошла со сцены академического театра не только для заезжих гостей, но и для десятилетнего — о нём, на счастье, все позабыли, не отправили спать — Юры Германтова; не исключено, что и вообще для него одного сошла. Как она там, на сцене, покоряла и с ума сводила Федю Протасова, Германтов не знал, но он, видевший Олю раньше лишь мельком, теперь никак не мог уже уберечься от её манящей и опьяняющей близости, от неё, такой распутно-живой, горячей, нервно и будто бы обречённо откидывающей с бледного чела волнистую прядь тёмно-каштановых волос, от её серых, гипнотично-порочных, брызжущих запретными

желаниями глаз и вкрадчиво-развязных движений; как остро, пряно пахли её духи... Оля жадно отпивала из большой запотевшей рюмки водку — кто ей на тарелку от избытка чувств подкладывал буженину? — и что-то, чудесно подзаряжаясь огненными глотками, с надрывной, но и с приглушённой при этом, как бы загнанной вовнутрь горечью плакальщицы, заранее оплакивавшей скорую собственную гибель, пела хриплым низким голосом, аккомпанируя себе на гитаре. У неё был, пока пела, прожигающий и при этом влажно-замутнённый какой-то, словно горячими слезами размытый взгляд... И как же он, потрясённый звучащим зрелищем и своим живым участием в нём, судорогой насквозь пробитый, не способный к простейшим умозаключениям, её полюбил, сразу и навсегда полюбил, испытав первый на своём веку и потому ошеломительный прилив эротизма. Голова закружилась, знакомые лица понеслись по кругу, как если бы все родичи и гости расселись не за столом, а на быстро-быстро крутящейся карусели; к тому же незаметно для себя и гостей сделал несколько больших глотков «Цинандали»; под каждый тост Сиверский с шутовскими гримасами делал глубокий вдох и салютовал — выдувал-выстреливал из какой-то трубочки свой салют; из пневматических залпов рождались ярко-рассыпчатые облака конфетти, и мигали-перемигивались разноцветные лампочки, мерцали, зеркалисто бликовали стеклянные ёлочные шары, пики, гирлянды золотого и серебряного дождя, да ещё кто-то из гостей слепил фотовспышками. За волной чувственности накрыла и — будто ещё и острое что-то пронзило сердце — зрительно-звуковая волна, тут же, на глазах, в вибрациях барабанных перепонок рождавшегося искусства. Как пела она, как пела; дорогой длинной, да ночью лунною... Да, опять-таки впервые на своём коротком пока веку ощутил он, что две стихии — любви-страсти и искусства сливались в Оле, в её затуманенном взоре, дрожащем на грани срыва, но необъяснимо плывучем голосе, нервных движениях рук и плеч. Она, собственно, и была воплощением-олицетворением их, этих стихий, и обе эти стихии, слившись в одну, олицетворённую ею, теперь и его захлёстывали, он тонул, чувствовал, что тонул, пускал пузыри... Бывают ли настоящие цыганки с серыми глазами? — не мог не подумать Германтов, вспомнив о повадках вокзальных черноглазых гадалок, и тут цыганский романс вместе с Олей, в два голоса, но в отличие от Оли — без надрыва, а протяжно, будто б с долгой измучивавшей болью, исторгавшейся из неё, так что боль ту не оставалось сил сдерживать, запела мама, и, казалось, на длинной дороге в лунной ночи он услышал звон колокольчиков; очищая мандарин, уже не мог понять, кого он любит сильнее — Олю Лебзак или маму?

И потом мама пела одна.

Нет, не глаза твои увижу в час разлуки, не голос твой услышу в тишине...

Захмелевшая Оля обняла маму, прижала к себе, мама, стряхнув с глянцевиных волос конфетти, запела: гори, гори, моя звезда... Потом — мелькали образы далёких чудных стран... Потом — моё признание вы забыли... Потом — но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня... Потом — только раз бывает в жизни встреча, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется... Как обострённо он воспринимал всё в ту ночь, всё, что видел, слышал, недаром всё-всё, взгляды, жесты, интонации, сохранила память; тост, новый цветистый залп конфетти, и — я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в душе моей обиды нет... И — слёзы подступая, льются через край... И — я помню вальса звук прелестный, а потом — твои глаза зелёные, уста твои обманные... — А потом, потом, что же запела она потом? Снился мне сад в подвенечном уборе? Да. А потом ей дали передохнуть, слушали Козина — веселья час и боль разлуки готов делить с тобой всегда... Пусть осень у дверей, я это твёрдо знаю, слова любви сто раз я повторяю... Не уходи-и-и, тебя я умоляю... Дружно, но нестройно и мучительно-радостно, кто в лес, а кто по дрова, подтягивали. Мама редко пела на домашних застольях, возможно, берегла голосовые связки, а когда, подвыпив, распевались безголосые гости, посматривала на них со скорбным видом — так, наверное, строгая экзаменаторша в консерватории посматривает на бездарных вокалистов-абитуриентов; да, береглась, побаивалась, что грозит ей искажение тембров и появление комков в горле, которые не прокашлять. С голосовыми связками её, последовательно ослабевавшими от звуковой вибрации из-за постоянно возраставшей репертуарной нагрузки, немало и, увы, безуспешно вскоре провозятся лучшие ларингологи и светила-фониатры — не помогут ей специальные ингаляции, парафиновые компрессы... Но тогда форсированное чув-ственное пение Оли, очевидно, и маму разбередило, она рискнула запеть в полную силу и уже не смогла остановиться. Он, не отводя глаз, следил за её открытым подвижным ртом, за волнующе менявшим контуры тёмным, с розоватым блеском нёба, провалом рта, обведённым ярко накрашенными, гибкими такими, выпуклыми губами. И как же дрожали звуки там, в таинственной коралловой глубине провала, в глубине горла, где, чудилось ему, перекатывались, ударяясь слегка друг о дружку, мелкие-мелкие, звонкие, как колокольчики, камушки, и тут же различимые на слух дрожь и слабые колебания отдельных звуков образовывали мощный и нежный, обогащённый своими тембрами у каждого звука, но сплошной неударжимый поток; а мама пела, пела: утро туманное, утро седое... Немели кончики пальцев, сердце сжималось от предчувствия огромной жгуче-счастливой и — непременно — горестной, с потерями и слезами, жизни, поджидавшей его: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые... И как же к лицу ей было светло-голубое платье с круглым вырезом на вздымавшейся груди, сшитое из парашютного шёлка! Вот она, рядышком, поющая и живая, повезло: обычно мамино пение несло, заполняя волнующей игрой звуков комнату, с патефонной пластинки,

угольно-чёрной, поблескивавшей при вращении хрупкого круга, а сама мама, живая, но какая-то отрешённая, расставляла на столе тарелки, фужеры... И вдруг чистой синевой вспыхивали её глаза.

— Синеокая, — сказал кто-то из гостей и предложил маме псевдоним, как бы совмещающий комплимент с шуткой: — Лариса Синеокая, бесподобно!

— Для исполнительницы романсов — прекрасно звучит, — не совсем тактично поддержал другой гость, — особенно если шаль накинуть и усиливать жестокие романсы мимансом цыганщины.

Заметил, как у мамы дрогнула жилка на сильной стройной шее, качнулись финифтяные бусы. Мама округлым плечом повела, давая понять, что ей ближе серьёзный репертуар... но и впрямь была она синеокой — «смотрела синими брызгами».

С тех пор и Сиверский, обнимая её на людях, ласково глядя на неё сверху вниз, говорил:

— Синеокая ты моя.

А Германтов ревновал.

Как объяснить? Он и маму, и Сиверского любил, но всё равно ревновал маму к Сиверскому.

И — мучился, как мучился он, даже при нудном обсуждении гостями «вагнеровских» и «вердиевских» признаков в голосах певцов. Да и как было ему не мучиться, не ревновать, если Сиверский маму всё ещё обнимал за плечи? Мама словно и тогда отсутствовала, когда сидела за столом рядом с ним; Германтову ситуативной близости её не хватало, он хотел, страстно хотел, чтобы она оставалась с ним, только с ним, всегда, но он стеснялся этого страстного своего желания, своей любви, и как мог своё стеснение скрывал, словно побаивался того, что об этом, наверное, неисполнимом желании и о безответной его любви к маме узнают другие.

Какая она была, какая?

В чуть полноватой стати её, в посадке и поворотах головы, в повадках и характере неторопливых движений было что-то от кустодиевских красавиц. Но в памяти лишь сохранился абстрактный образ: без зацепляющих навсегда словечек, улыбок, жестов... без запахов.

Мама даже тогда отсутствовала, когда вдруг гладила по волосам и целовала его, подкидыша, словно возвращала себе навсегда сына, прижималась на миг щекой к щеке, и его пробивала дрожь.

Думала не о сыне, о сцене?

И, отсутствуя, когда бывала дома, присутствовала там — в театре, на гастролях, в студии звукозаписи.

Но почему-то и в свой театр она сына не приводила. Не поверите, он так и не услышал, как она пела в опере, со сцены, прижимая ладонь к сердцу или, словно помогая высвобождению звуков, прижимая обе руки к вздымающейся груди, прохаживаясь меж пышно изукрашенными фанерными декорациями дворцовых зал; да и раз всего он побывал на утреннике в Мариинке, причём не на оперном спектакле, а на балете, как было принято, на «Щелкунчике»; сидел — в кассе ждала именная контрамарка — в первом, литерном ряду, утонув в зеленоватом плюшевом кресле; со сцены, такой близкой и по причине приближённости своей вовсе не сказочной, хотя на ней танцевали пыльные фетровые мыши, несло тошнотворно-сладкой смесью пота и пудры.

Дата публикации: 15.04.2015

[Александр Товбин](#), [Германтов и унижение Палладио](#), [Геликон Плюс](#), Большая книга